

Максим Горький

# В степи



# Максим Горький

## В степи

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=625415](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=625415)*

### Аннотация

«Мы вышли из Перекопа в самом сквернейшем настроении духа – голодные, как волки, и злые на весь мир. В продолжение половины суток мы безуспешно употребляли в дело все наши таланты и усилия для того, чтобы украсть или заработать что-нибудь, и, когда убедились, наконец, что ни то, ни другое нам не удастся, решили идти дальше. Куда? Вообще – дальше.

Мы готовы были пойти и во всех отношениях дальше по той жизненной тропе, по которой давно уже шли, – это было молча решено каждым из нас и ясно сверкало в угрюмом блеске наших голодных глаз.

Нас трое; мы все недавно познакомились, столкнувшись друг с другом в Херсоне, в кабачке на берегу Днепра...».

# Максим Горький

## В степи

Мы вышли из Перекопа в самом сквернейшем настроении духа – голодные, как волки, и злые на весь мир. В продолжение половины суток мы безуспешно употребляли в дело все наши таланты и усилия для того, чтобы украсть или заработать что-нибудь, и, когда убедились, наконец, что ни то, ни другое нам не удастся, решили идти дальше. Куда? Вообще – дальше.

Мы готовы были пойти и во всех отношениях дальше по той жизненной тропе, по которой давно уже шли, – это было молча решено каждым из нас и ясно сверкало в угрюмом блеске наших голодных глаз.

Нас трое; мы все недавно познакомились, столкнувшись друг с другом в Херсоне, в кабачке на берегу Днепра.

Один – солдат железнодорожного батальона, потом – якобы – дорожный мастер, рыжий и мускулистый человек, с холодными, серыми глазами; он умел говорить по-немецки и обладал очень подробным знанием тюремной жизни.

Наш брат не любит много говорить о своём прошлом, всегда имея на это более или менее основательные причины, и потому все мы верили друг другу – по крайней мере, наружно верили, ибо внутренне каждый из нас и сам-то себе плохо верил.

Когда второй наш товарищ, сухонький и маленький человечек с тонкими губами, всегда скептически поджатыми, говорил о себе, что он бывший студент московского университета, – я и солдат принимали это за факт. В сущности, нам было решительно всё равно, был ли он когда-то студентом, сыщиком или вором, – важно было лишь то, что в момент нашего знакомства он был равен нам: голодал, пользовался особым вниманием полиции в городах и подозрительным отношением мужиков в деревнях, ненавидел и ту и других ненавистью загнанного, голодного зверя, мечтал об универсальной мести всем и всему, – одним словом, и по своему положению среди царей природы и владык жизни, и по настроению – был нашего поля ягода.

Третий был я. По скромности, со времён молодых ногтей моих присущей мне, я ни слова не скажу о моих достоинствах и, не желая показаться вам наивным, умолчу о своих недостатках.

Но, пожалуй, в виде материала для моей характеристики, я скажу, что всегда считал себя лучше других и успешно продолжаю заниматься этим до сего дня.

Итак, – мы вышли из Перекопа и шли дальше, имея в виду чабанов, у которых всегда можно попросить хлеба и которые очень редко отказывают в этом прохожим людям.

Я шёл рядом с солдатом, «студент» шагал сзади нас. На плечах у него висело нечто, напоминавшее пиджак; на голове – острой, угловатой и гладко остриженной – покоился

остаток широкополой шляпы; серые брюки в разноцветных заплатах обтягивали его ножки, а к ступням он пристроил верёвочками, свитыми из подкладки его костюма, найденное на дороге голенище сапога, назвал это сооружение сандалиями и шагал молча, поднимая много пыли и поблескивая зеленоватыми маленькими глазками. Солдат был одет в красную кумачовую рубаху, которую, по его словам, он «собственноручно» приобрёл в Херсоне; сверх рубахи на нём был ещё тёплый ватный жилет; на голове, по воинскому уставу – «с заломом верхнего круга на правую бровь», – надета была солдатская фуражка неопределённого цвета; на ногах болтались широкие чумацкие шаровары. Он был бос.

Я тоже был одет и бос.

Вокруг нас во все стороны богатырским размахом распростёрлась степь и, покрытая синим знойным куполом безоблачного неба, лежала, как громадное, круглое чёрное блюдо. Серая, пыльная дорога резала её широкой полосой и жгла нам ноги. Местами попадались щетинистые полосы сжатого хлеба, имевшие странное сходство с давно не бритыми щеками солдата.

Солдат шёл и пел сиповатым басом:

– ...И святое воскресение твоё поём и хва-алим...

Во время своей службы он был чем-то вроде дьячка батальонной церкви, знал бесчисленное множество тропарей, ирмосов и кондаков, знанием которых и злоупотреблял каждый раз, когда беседа наша почему-либо не вязалась.

Впереди, на горизонте, росли какие-то фигуры мягких очертаний и ласковых оттенков от лилового до нежно-розового.

– Очевидно, это и есть Крымские горы, – сказал «студент».

– Горы? – воскликнул солдат, – больно рано, друг, увидел ты их. Это... облака.

Видишь, какие – точно клюквенный кисель с молоком...

Я заметил, что было бы в высшей степени приятно, если бы облака и в самом деле состояли из киселя.

– Ах, дьявол! – выругался солдат, сплёвывая. – Хоть бы одна живая душа попалась!

Никого... Приходится, как медведям зимой, собственные лапы сосать...

– Я говорил, что надо было к заселённым местам двигаться, – поучительно заявил «студент»...

– Ты говорил! – возмутился солдат. – На то ты и учёный, чтобы говорить. Какие тут заселённые места? Чёрт их знает, где они!

«Студент» замолчал, поджав губы. Солнце садилось, облака на горизонте играли разнообразными, неуловимыми словом красками. Пахло землёй и солью.

И от этого сухого, вкусного запаха наши аппетиты ещё более усиливались.

В желудках сосало. Это было странное и неприятное ощущение: казалось, что из всех мускулов тела соки медленно

вытекают куда-то, испаряются и мускулы теряют свою живую гибкость. Ощущение колющей сухости наполняло полость рта и глотку, в голове мутилось, а перед глазами мелькали тёмные пятна. Иногда они принимали вид дымящихся кусков мяса, караваев хлеба; воспоминание снабжало эти «виденья былого, виденья немые» свойственными им запахами, и тогда в желудке точно нож повёртывался.

Мы всё-таки шли, делясь друг с другом описанием наших ощущений, зорко посматривая по сторонам – не видать ли где-либо отары овец, и слушая – не раздастся ли резкий скрип арбы татарина, везущего фрукты на Армянский базар.

Но степь была пуста, безмолвна.

Накануне этого тяжёлого дня мы втроём съели четыре фунта ржаного хлеба и штук пять арбузов, а прошли около сорока вёрст – расход не по приходу! Заснув на базарной площади Перекопа, мы проснулись от голода.

«Студент» справедливо советовал нам не ложиться спать, а в течение ночи заняться... но в порядочном обществе не принято вслух говорить о проектах нарушения права собственности, я молчу. Я хочу быть только правдивым, не в моих интересах быть грубым. Я знаю, что люди становятся всё мягче душой в наши высококультурные дни и даже, когда берут за глотку своего ближнего с явной целью удушить его, – стараются сделать это с возможной любезностью и соблюдением всех приличий, уместных в данном случае. Опыт собственной моей глотки заставляет меня отметить этот про-

гресс нравов, и я с приятным чувством уверенности подтверждаю, что всё развивается и совершенствуется на этом свете. В частности, этот замечательный процесс веско подтверждается ежегодным ростом тюрем, кабаков и домов терпимости...

Так, глотая голодную слюну и стараясь дружеской беседой подавить боли в желудках, мы шли пустынной, безмолвной степью, в красноватых лучах заката; пред нами солнце тихо опускалось в мягкие облака, щедро окрашенные его лучами, а сзади нас и с боков голубоватая мгла, поднимаясь со степи в небо, суживала неприветливые горизонты.

– Собирайте, братцы, материал для костра, – сказал солдат, поднимая с дороги какую-то чурбашку. – Придётся ночевать в степи – роса! Кизяки, всякий прут – всё бери!

Мы разошлись по сторонам дороги, собирая сухой бурьян и всё, что могло гореть. Каждый раз, когда приходилось наклоняться к земле, в теле возникало страстное желание упасть и есть землю, чёрную, жирную, много есть, есть до изнеможения, потом – заснуть. Хоть навсегда заснуть, только бы есть, жевать и чувствовать, как тёплая и густая кашлица изо рта медленно опускается по ссохшемуся пищеводу в желудок, горящий от желания впитать в себя что-либо.

– Хоть бы коренья какие-нибудь найти... – вздохнул солдат. – Есть этикие съедобные коренья...

Но в чёрной вспаханной земле не было никаких кореньев. Южная ночь наступала быстро, и ещё не успел угаснуть по-



следний луч солнца, как уже в тёмно-синем небе заблестели звёзды, а вокруг нас всё плотнее сливались тени, суживая бесконечную гладь степи...

– Братцы, – вполголоса сказал «студент», – там влево человек лежит...

– Человек? – усомнился солдат. – А чего ему там лежать?

– Иди и спроси. Наверное, у него есть хлеб, коли он расположился в степи.

Солдат посмотрел в сторону, где лежал человек, и решительно сплюнул.

– Идём к нему!

Только зелёные, острые глаза «студента» могли разобрать, что тёмная куча, возвышавшаяся саженьях в пятидесяти влево от дороги, – человек. Мы шли к нему, быстро шагая по комьям пашни, и чувствовали, как зародившаяся в нас надежда на еду обостряет боли голода. Мы были уже близко, – человек не двигался.

– А может, это не человек, – угрюмо выразил солдат общую всем мысль.

Но наше сомнение рассеялось в тот же момент, ибо куча на земле вдруг зашевелилась, выросла, и мы увидали, что это – самый настоящий, живой человек, он стоял на коленях, простирая к нам руку, и говорил глухим и дрожащим голосом:

– Не подходи, – застрелю!

В мутном воздухе раздался сухой, краткий щелчок. Мы

остановились, как по команде, и несколько секунд молчали, ошеломлённые нелюбезной встречей.

– Вот так мер-рзавец! – выразительно пробормотал солдат.

– Н-да, – задумчиво сказал «студент». – С револьвером ходит... видно, икрыная рыба...

– Эй! – крикнул солдат, очевидно, решив что-то. Человек, не изменяя позы, молчал.

– Эй, ты! Мы не тронем тебя, – дай нам только хлеба – есть? Дай, брат, Христа ради!..

Будь ты, анафема, проклят!

Последние слова солдат произнёс себе в усы. Человек молчал.

– Слышишь? – с дрожью злобы и отчаяния снова заговорил солдат. – Дай, мол, хлеба! Мы не подойдём к тебе... брось нам его...

– Ладно, – кратко сказал человек.

Он мог бы сказать нам «дорогие братья мои!» – и, если б он влил в эти три слова все самые святые и чистые чувства, они не возбудили бы нас так и не очеловечили бы настолько, как это глухое краткое «ладно»!

– Ты не бойся нас, добрый человек, – мягко улыбаясь, заговорил солдат, хотя человек не мог видеть его улыбки, ибо был отделён от нас расстоянием по крайней мере в двадцать шагов.

– Мы люди смиренные, – идём из России в Кубань... под-

шиблись деньгой в дороге, всё с себя проели, – а теперь вот уж вторые сутки не жрамши...

– Держи! – сказал добрый человек, взмахнув рукой в воздухе. Чёрный кусок мелькнул и упал неподалёку от нас на пашню. «Студент» бросился за ним.

– Ещё держи! Больше нет...

Когда «студент» собрал эту оригинальную подачку, оказалось, что мы имеем фунта четыре пшеничного чёрствого хлеба. Он был вывален в землю и очень чёрств. Чёрствый хлеб сытнее мягкого: в нём меньше влаги.

– Так... и так... и так! – сосредоточенно распределял солдат куски. – Стой... не ровно! У тебя, учёный, надо ущипнуть кусочек, а то ему мало...

«Студент» беспрекословно подчинился утрате кусочка хлеба золотников в пять весом; я получил его, положил в рот.

И стал жевать, медленно жевать, едва сдерживая судорожное движение челюстей, готовых искрошить камень. Мне доставляло острое наслаждение чувствовать судороги пищевода и понемножку, капельками удовлетворять его. Глоток за глотком, тёплые, неопишимо вкусные, проникали в желудок и, казалось, тотчас же превращались в кровь и мозг. Радость, – такая странная, тихая и оживляющая радость, грела сердце по мере того, как наполнялся желудок. Я позабыл о проклятых днях хронического голода, позабыл о моих товарищах, погружённый в наслаждение ощущениями, которые

я переживал.

Но когда я сбросил с ладони в рот последние крошки хлеба, то почувствовал, что смертельно хочу есть.

– У него, анафемы, сало там ещё осталось или мясо какое-то... – ворчал солдат, сидя на земле против меня и потирая руками желудок.

– Наверное, потому хлеб имел запах мяса... Да и хлеб, наверно, остался, – сказал «студент» и тихонько добавил: – Если бы не револьвер...

– Кто он такой?

– Видно, наш брат Исакий...

– Собака! – решил солдат.

Мы сидели тесной группой, посматривая туда, где сидел наш благодетель с револьвером.

Оттуда до нас не доносилось ни звука, ни признака жизни.

Ночь собирала вокруг свои тёмные силы. Мертвенно-тихо было в степи, – мы слышали дыхание друг друга. Иногда где-то раздавался меланхолический свист суслика... Звёзды, живые цветы неба, горели над нами... Мы хотели есть.

С гордостью говорю – я был не хуже и не лучше моих случайных товарищей в эту несколько странную ночь. Я предложил им встать и идти на этого человека. Не нужно трогать его, но мы съедим всё, что найдём. Он будет стрелять, – пускай! Из троих попадёт только в одного, – если попадёт; а если и попадёт, так едва ли револьверная пуля убьёт насмерть.

– Идём! – сказал солдат, вскочив на ноги. «Студент» под-

нялся медленнее его.

И мы пошли, почти побежали. «Студент» держался сзади нас.

– Товарищ! – укоризненно крикнул ему солдат. Навстречу нам несло глухое бормотанье и резкий звук щёлкающего курка. Вот сверкнул огонь, раздался сухой звук выстрела.

– Мимо! – радостно крикнул солдат, одним прыжком достигая человека. – Ну, дьявол, я ж тебе теперь задам...

«Студент» бросился к котомке.

А «дьявол» упал с колен на спину и, разметав руки, хрипел...

– Что за чёрт! – изумился солдат, уже поднявший ногу, чтобы дать пинка этому человеку. – Неужто он в себя ахнул? Ты! Что ты? Эй! Застрелился, что ли?

– И мясо, и какие-то лепёшки, и хлеб... много, братцы! – раздался ликующий голос «студента».

– Ну, чёрт с тобой, издыхай... Едим! – крикнул солдат. Я вынул револьвер из руки человека, который уже перестал хрипеть и лежал теперь неподвижно. В барабане был ещё один патрон.

Мы снова ели, ели молча. Человек лежал и тоже молчал, не двигая ни одним членом. Мы не обращали на него внимания.

– Неужто, братцы родные, вы это только из-за хлеба? – вдруг раздался хриплый и дрожащий голос.

Мы все вздрогнули. «Студент» даже поперхнулся и, со-

гнувшись к земле, стал кашлять.

Солдат, прожевав кусок, начал ругаться.

– Собачья ты душа, чтоб те треснуть, как сухой колоде!  
Шкуру, что ли, мы с тебя сдерём? На кой она нам нужна?  
Дурье твоё рыло, поганый дух! На-ко! – вооружился и палит  
в людей! Анафема ты...

Он ругался и ел, отчего ругань его теряла выразительность  
и силу...

– погоди, вот мы поедем, так рассчитаемся с тобой, – зло-  
веще пообещал «студент».

Тогда в тишине ночи раздались воющие рыдания, испу-  
гавшие нас.

– Братцы... разве я знал? Стрелял... потому что боюсь.  
Иду из Нового Афона... в Смоленскую губернию... господи!  
Лихорадка смаяла... как солнце зайдёт – беда моя! От ли-  
хорадки и с Афона ушёл... столярил там... столяр я... До-  
ма жена... две девочки... три года четвёртый не видал их...  
братцы! Всё ешьте...

– Съедем, не проси, – сказал «студент».

– Господи боже! кабы я знал, что вы мирные, хорошие лю-  
ди... разве бы я стал стрелять?

А тут, братцы, степь, ночь... виноват я?

Он говорил и плакал, вернее – издавал дрожащий, пугли-  
вый вой.

– Вот скулит! – презрительно сказал солдат.

– У него должны быть деньги с собой, – заявил «студент».

Солдат прищурил глаза, посмотрел на него и усмехнулся.

– А ты – догадливый... Вот что, давайте-ка костёр запалим, да и спать...

– А он? – осведомился «студент».

– А чётр с ним! Жарить нам его, что ли?

– Следовало бы, – сказал «студент», качнув своей острой головой.

Мы сходили за набранными нами материалами, которые бросили там, где остановил нас столяр своим окриком, принесли их и скоро сидели вокруг костра. Он тихо теплился в безветреную ночь, освещая маленькое пространство, занятое нами. Нас клонило ко сну, хотя мы всё-таки могли бы ещё раз поужинать.

– Братцы! – окликнул столяр. Он лежал в трёх шагах от нас, и порой мне казалось, что он что-то шепчет.

– Да? – сказал солдат.

– Можно мне к вам... к огню? Смерть моя приходит... кости ломит!.. Господи! не дойду я, видно, домой-то...

– Ползи сюда, – разрешил «студент». Столяр медленно, точно боясь потерять руку или ногу, подвинулся по земле к костру. Это был высокий, страшно исхудавший человек; всё на нём как-то болталось, большие, мутные глаза отражали сведавшую его боль. Искривлённое лицо было костляво и даже при освещении костра имело какой-то желтовато-землистый мертвенный цвет. Он весь дрожал, возбуждая презрительную жалость. Протянув к огню длинные, худые руки,

он потирал костлявые пальцы, суставы их гнулись вяло, медленно. В конце концов на него было противно смотреть.

– Что же ты это – в таком виде – пешком идёшь? – скуп, что ли? – угрюмо спросил солдат.

– Посоветовали мне... не езди, говорят, по воде... а иди Крымом, – воздух, говорят. А я вот не могу идти... помираю, братцы! Помру один в степи... птицы расклюют, и не узнает никто... Жена... дочки будут ждать – написал я им... а мои кости дожди будут степные мыть... Господи, господи!

Он завыл тоскливым воем раненого волка.

– О, дьявол! – взбесился солдат, вскочив на ноги. – Чего ты скулишь? Что ты не даёшь покоя людям? Издыхаешь? Ну, издыхай, да молчи...

– Ляжете спать, – сказал я. – А ты, коли хочешь быть у огня, так не вой, в самом деле...

– Слышал? – свирепо сказал солдат. – Ну, и понимай. Ты думаешь, мы возиться с тобой будем за то, что ты в нас хлебом швырял да пули пускал? Кислый чёрт! Другие бы, – тьфу!..

Солдат замолчал и вытянулся на земле.

«Студент» уже лежал. Я тоже лёг. Напуганный столяр съёжился в комок и, подвинувшись к огню, молча стал смотреть на него. Я слышал, как стучали его зубы. «Студент» лёг слева и, кажется, сразу заснул, свернувшись в комок. Солдат, заложив руки под голову, смотрел в небо.

– Экая ночь, а? Звёзд, сколько... – обратился он ко мне. –



Небо-то – одеяло, а не небо. Люблю я, друг, эту бродяжную жизнь. Оно и холодно и голодно, но свободно уж очень...

Нет над тобой никакого начальства... Хоть голову себе откуси – никто тебе слова не скажет.

Наголодался я за эти дни, налил... а вот теперь лежу, смотрю в небо... Звёзды мигают мне: ничего, Лакутин, ходи, знай, по земле и никому не поддавайся... И на сердце хорошо...

А ты, – как тебя? эй, столяр! Ты не сердись на меня и ничего не бойся... Что мы хлеб твой съели, это ничего: у тебя был хлеб, а у нас не было, мы твой и съели... А ты, дикий человек, пули пускаешь... Неужто ты не понимаешь, что пулей вред человеку можно сделать?

Очень я на тебя давеча рассердился и, ежели бы ты не упал, вздул бы я тебя, брат, за твою дерзость. А насчёт хлеба – дойдёшь ты завтра до Перекопа и купишь там, – деньги у тебя есть, конечно... Давно ты схватил лихорадку-то?

Долго ещё в моих ушах гудел бас солдата и дрожащий голос больного столяра. Ночь – тёмная, почти чёрная – спускалась всё ниже на землю, и в грудь лился свежий, сочный воздух.

От костра исходил ровный свет и живительное тепло... Глаза слипались.

– Вставай! Живо! Идём!

Я с испугом открыл глаза и быстро вскочил на ноги, чему помог солдат, сильно дёрнув меня с земли за руку.

– Ну, живо! Шагай!

Лицо у него было сурово и тревожно. Я оглянулся вокруг. Выходило солнце, уже розовый луч его лежал на неподвижном, синем лице столяра. Рот у него был открыт, глаза далеко вышли из впадин и смотрели стеклянным взглядом, выражая ужас. Одежда на его груди вся изорвана, он лежал в неестественно изломанной позе. «Студента» не было.

– Ну, загляделся! Иди, говорю! – внушительно сказал солдат, таща меня за руку.

– Он умер? – спросил я, вздрагивая от утренней свежести.

– Конечно. И тебя удушить, так ты умрёшь, – объяснил солдат.

– Его – «студент»? – воскликнул я.

– Ну, а кто же? Ты, может? А то я? Вот те и учёный... Ловко управился с человеком... и товарищей своих в рюху всадил. Знай я это, я бы вчера этого «студента» убил. Убил бы с одного разу. Трах его кулаком в висок... и нет на свете одного мерзавца! Ведь что он сделал, ты понимаешь? Теперь мы должны так идти, чтобы ни один глаз человеческий не видал нас в степи. Понял? Потому – столяра сегодня найдут

и увидят – удушен и ограблен. И будут смотреть за нашим братом... откуда идёшь, где ночевал? Хотя при нас с тобой и нет ничего... а револьвер-то его у меня за пазухой! Штука!

– Ты его брось, – посоветовал я солдату.

– Бросить? – задумчиво сказал он. – Вещь-то ценная... А может, нас и не словят ещё?..

Нет, я не брошу... кто знает, что у столяра оружие было? Не брошу... Он рубля три стоит.

Пуля в нём есть... эхма! Как бы эту я самую пулю милому товарищу нашему в ухо выпустил!

Сколько он, собака, денег огрёб, – а? Анафема!

– Вот те и дочери столяровы... – сказал я.

– Дочки? Какие? А, у этого... Ну, они вырастут, замуж-то не за нас выйдут, об них и разговору нет... Идём, брат, скорее... Куда нам идти?

– Я не знаю... Всё равно.

– И я не знаю, и знаю, что всё равно. Идём вправо: там должно море быть.

Мы пошли вправо.

Я обернулся назад. Далеко от нас в степи возвышался тёмный бугорок, а над ним сияло солнце.

– Смотришь, не воскрес ли? Не бойсь, догонять нас не встанет... Учёный-то, видно, со сноровкой парень, основательно управился... Ну, и товарищ! Здорово он нас всадил! Эх, брат!

Портятся люди, из года в год всё больше портятся! – пе-

чально сказал солдат.

Степь, безмолвная и пустынная, вся залитая ярким солнцем утра, развёртывалась вокруг нас, сливаясь на горизонте с небом, таким ясным, ласковым и щедрым светом, что всякое чёрное и несправедливое дело казалось невозможным среди великого простора этой свободной равнины, покрытой голубым куполом небес.

– А жрать-то хочется, брат! – сказал мой товарищ, свёртывая папироску.

– Чего мы сегодня поедим, и где, и как?

Задача!

\* \* \*

На этом рассказчик – мой сосед по больничной койке – кончил свою повесть, сказав мне:

– Вот и всё. Я очень подружился с этим солдатом, мы с ним вместе дошли до Карсской области. Это был добрый и опытный малый, типичный бродяга. Я уважал его. До самой Малой Азии шли мы вместе, а там потеряли друг друга...

– Вы вспоминаете иногда о столяре? – спросил я.

– Как видите или – как слышали...

– И... ничего?

Он засмеялся.

– А что я должен чувствовать при этом? Я не виноват в том, что с ним случилось, как вы не виноваты в том, что слу-

чилося со мной... И никто ни в чём не виноват, ибо все мы  
одинаково – скоты.